

Эх, залетная

На фестивале «Золотая маска» показали лучший спектакль

Антон Красовский

Лев Абрамович Додин любит Москву. Привозит сюда свои спектакли, улыбается журналистам, жалуется публике. Москва к нему вроде бы тоже вполне благожелательна: ходит, смотрит, слушает. Но делает все это как-то настороженно: мол, все в этом Додине правильно, все отчетливо и симпатично, но уж больно не по-нашему, без куража, без ярмарки. Москве не знакомы эти артисты, они не снимались в кино и рекламе химсредств – плохо. В его постановках нет музыки, полонеза там или Бреговича – непривычно. Его пространство насыщено несносным духом подлинности – не слишком ли? Да и вообще – не наш человек этот Додин – ленинградский, вычурный. Вот посмотрели, скажем, «Чайку» и вроде бы – ничего, понравилось, но как-то не до конца. На четверочку с минусом. Спектакль закончился, зрители пошуршали программками, какой-то юноша в водолазке крикнул: «Треплев, bravo», – критики чинно похвалили, жюри развезалось по домам. И все? Может статься, что так.

Может статься, но не хотелось бы. Ведь, несмотря ни на что, «Чайка» – лучший спектакль на этой «Маске». Объективно, тут нечего рассуждать. Есть же в конце концов какие-то взрослые обдуманные категории, апеллируя которыми можно утверждать, что один спектакль – искусство, другой – развлечение. А третий – попросту замысловатое занудство. Попробуем доказать, что «Чайка» в первой категории? Извольте. Только не считите это за курс психотерапии, если она кому и нужна, то только мне самому. Я сам себя убеждаю, себе доказываю.

На самом деле нам очень нравится все, что делает Додин. Только мы очень этого боимся. Боимся и того, что происходит на сцене, и того, что нам это



Татьяна Шестакова в маске Аркадиной.

Фото Михаила Гутермана

нравится. Нам страшен додинский гиперреализм, со всеми его мутными озерцами, желтой травкой и скрипящими великами. Мы боимся, что кто-то, бог знает кто, подсматривает за нашими случайными встречами, за нашими любовями, за нашим миром. Мы тихонько катимся в пропасть вслед за додинским Треплевым, боясь уцепиться за клочок воспоминаний, за случайную корягу дум, за жизнь. Мы сидим и ужасаемся, что попали в этот замок, где все предвещает беду, и никто не гарантирует, что это случится не с нами. В чавканье мутной воды нам слышатся неровные шаги приближающейся смерти:

вот она идет по мещерскому болотцу – чвак-чвак. В скрипе велосипедных цепей мерещится звон юродивых вериг, в слезах Аркадиной – плач по утраченному времени.

Мы сидим в зале, и спиной к нам сидят артисты. Они смотрят на Заречную, похожую на Горгону в тряпичной дыре, мы на них, и бог его знает кто из нас настоящий, а кто игрушечный. Все – мандельштамовское куролесье, все во всем. Вот тихо стреляется Костя, так тихо, что даже тихий ангел не легал – ничто не дрогнуло снаружи. Только внутри, где-то меж ребер затрещало, завыстело: «Вот и время пришло... За мной? – Пока не за мною».

Мы боимся Додина не потому, что он страшен, а потому, что он неизвестен. Он необъясним. Любая попытка энциклопедировать его мир, его пространство, его великий сон – глупость. Такая же глупость, как книжки «Жизнь после смерти» или «Карма Бодхидхармы». Всякий раз приходя на его спектакли – на «Платонова» ли, на «Молли Суини» или на эту «Чайку», мы держим за руку умирающего. Слышите? – Последний вздох, поворот головы, мутные глаза – все. Это очень просто, так случается часто, очень часто. Всегда. Но объяснить, систематизировать этот миг невозможно.

Додин как смерть, мгновенен и молчалив, как жизнь, печален и безутешен. Страшен. Очень страшен.

Мы боимся жить? Да! Мы боимся жить. Но у нас нет иного пути – мы живем, и боимся признаться, что делать это нам очень и очень страшно. Бросьте – признайтесь и признайте. И Додина признайте. Плевать, что Москва – карамельный и сочный град, что тут хочется верить в бессмертье, разгадывать знак «бесконечность». Плевать – все равно отмучаемся. Но будет поздно. Он так и останется чужим – ленинградским почтальоном с толстой сумкой и старыми афишами.